

Собор Парижской Богоматери

Лучшие произведения автора в одной книге!

В издание вошли «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется», «Гаврош». Однако ни фильмам, ни десяткам театральных постановок так и не удалось до конца передать масштаб и величие произведений Гюго.

История всепобеждающей любви: прекрасная цыганка Эсмеральда покорила горбатого звонаря Квазимодо, священника и блестящего офицера...

Рассказ о боли и милосердии: его лицо вызывало смех и жалость, но в сердце жила доброта...

Повесть о любви к жизни: бесшабашный Гаврош считал жизнь игрой, но однажды...



Виктор
Гюго

СОБОР
ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИСКУССТВ
И ДОСЛАВ

Виктор Гюго

**Собор Парижской Богоматери.
Человек, который смеется. Гаврош**

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2013

© Е. Лесовикова, составление, 2013

© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2013

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2013

ISBN 978-966-14-5423-0 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:

Гюго В.

Г99 Собор Парижской Богоматери : роман / Виктор Гюго ; под ред. К. Локса ; предисл. Ф. М. Достоевского ; Человек, который смеется : роман / пер. с фр. Б. К. Лившица ; Гаврош ; [к сб. в целом: сост. Е. Лесовиковой ; худож. А. Семякин]. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2013. — 1216 с. : ил.

ISBN 978-966-14-4799-7 (Украина)

ISBN 978-5-9910-2317-7 (Россия)

УДК 821.133.1

ББК 84.4ФРА

Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»

Ф. М. Достоевский

«Le laid, c'est le beau»[1] — вот формула, под которую лет тридцать тому назад самодовольная ратина думала подвести мысль о направлении таланта Виктора Гюго, ложно поняв и ложно передав публике то, что сам Виктор Гюго писал для истолкования своей мысли. Надо признаться, впрочем, что он и сам был виноват в насмешках врагов своих, потому что оправдывался очень темно и заносчиво и истолковывал себя довольно бестолково. И однако ж нападки и насмешки давно исчезли, а имя Виктора Гюго не умирает, и недавно, с лишком тридцать лет спустя после появления его романа «Notre Dame de Paris»[2], явились «Les Misérables»[3], роман, в котором великий поэт и гражданин выказал столько таланта, выразил основную мысль своей поэзии в такой художественной полноте, что весь свет облетело его произведение, все прочли его, и чарующее впечатление романа полное и всеобщее. Давно уже догадались, что не глупой карикатурной формулой, приведенной нами выше, характеризуется мысль Виктора Гюго. Его мысль есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная, формула ее — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных и всеми отринутых парий общества. Конечно, аллегория немислима в таком художественном произведении, как, например, «Notre Dame de Paris». Но кому не придет в голову, что Квазимодо есть олицетворение пригнетенного и презираемого средневекового народа

французского, глухого и обезображенного, одаренного только страшной физической силой, но в котором просыпается наконец любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды и еще непочатых, бесконечных сил своих.

Виктор Гюго чуть ли не главный провозвестник этой идеи «восстановления» в литературе нашего века. По крайней мере он первый заявил эту идею с такой художественной силой в искусстве. Конечно, она не есть изобретение одного Виктора Гюго; напротив, по убеждению нашему, она есть неотъемлемая принадлежность и, может быть, историческая необходимость девятнадцатого столетия, хотя, впрочем, принято обвинять наше столетие, что оно после великих образцов прошлого времени не внесло ничего нового в литературу и в искусство. Это глубоко несправедливо. Проследите все европейские литературы нашего века, и вы увидите во всех следы той же идеи, и, может быть, хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно, в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, «Божественная комедия» выразила свою эпоху средневековых католических верований и идеалов.

Виктор Гюго, бесспорно, сильнейший талант, явившийся в девятнадцатом столетии во Франции. Идея его пошла в ход; даже форма теперешнего романа французского чуть ли не принадлежит ему одному. Даже его огромные недостатки повторились чуть ли не у всех последующих французских романистов. Теперь, при всеобщем, почти всемирном успехе «Les Misérables», нам пришло в голову, что роман «Notre Dame de Paris» по каким-то причинам не переведен еще на русский язык, на котором уже так много переведено европейского. Слова нет, что его все прочли на французском языке у нас и прежде; но, во-первых, рассудили мы, прочли только знавшие французский язык, во-вторых — едва ли прочли и все знавшие по-французски, в-третьих — прочли очень давно, а в-четвертых — и прежде-то, и тридцать-то лет назад, масса публики, читающей по-французски, была очень невелика сравнительно с теми, которые и рады бы читать, да по-французски не умели. А теперь масса читателей, может быть, в десять раз увеличилась против той, что была тридцать лет назад. Наконец — и главное — все это было уже очень давно. Теперешнее же поколение

вряд ли перечитывает старое. Мы даже думаем, что роман Виктора Гюго теперешнему поколению читателей очень мало известен. Вот почему мы и решились перевести в нашем журнале вещь гениальную, могучую, чтоб познакомить нашу публику с замечательнейшим произведением французской литературы нашего века. Мы даже думаем, что тридцать лет — такое расстояние, что даже и читавшим роман в свое время может быть не слишком отяготительно будет перечесть его в другой раз.

Итак, надеемся, что публика на нас не посетует за то, что мы предлагаем ей вещь так всем известную... *по названию*.

Собор Парижской Богоматери

Несколько лет тому назад, посещая, или, вернее, обследуя собор Парижской Богоматери, автор этой книги заметил в темном углу одной из башен вырезанное на стене слово:

ΑΝ ΑΓΚΗ[4]

Греческие письмена, почерневшие от времени и довольно глубоко высеченные в камне, неуловимые особенности готического письма, сквозившие в их форме и расположении и словно свидетельствовавшие о том, что их начертала средневековая рука, а более всего — мрачный и роковой смысл, заключавшийся в них, живо поразили автора.

Он раздумывал, он старался отгадать, чья скорбящая душа не пожелала покинуть этот мир, не оставив клейма преступления или несчастья на челе старинного собора.

Теперь эту стену (я уже даже не помню, какую именно) не то покрасили, не то выскоблили, и надпись исчезла. Ведь уже двести лет у нас так поступают с чудесными средневековыми церквями. Их калечат всевозможными способами как снаружи, так и изнутри. Священник их перекрашивает, архитектор скребет; затем является народ и разрушает их вконец.

И вот, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги посвящает таинственному слову, высеченному в мрачной башне собора Парижской Богоматери, ничего не осталось ни от этого слова, ни от той неведомой судьбы, итог которой был столь меланхолически подведен в нем.

Человек, начертавший его на стене, исчез несколько столетий тому назад из числа живых, слово, в свою очередь, исчезло со стены собора, и самый собор, быть может, вскоре исчезнет с лица земли. Из-за этого слова и написана настоящая книга.

Февраль 1831 г.

Книга первая

І. Большой зал

Ровно триста сорок восемь лет шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижан разбудил громкий трезвон всех колоколов трех кварталов: Старого и Нового города и Университета. А между тем этот день, 6 января 1482 года, не принадлежал к числу тех, о которых сохранилась память в истории. Ничего примечательного не было в событии, так взволновавшем жителей Парижа и заставившем с утра звонить все колокола. На город не шли приступом пикардийцы или бургундцы, студенты не бунтовали, не предвиделось ни въезда «нашего грозного властелина, господина короля», ни занимательного повешения воров и воровок. Не ожидалось также прибытия какого-нибудь разряженного и разубранного посольства, что случалось так часто в пятнадцатом веке. Всего два дня тому назад одно из таких посольств, состоящее из фламандских послов, явившихся с целью устроить брак между дофином и Маргаритой Фландрской, прибыло в Париж, к великой досаде кардинала Бурбонского, который, угождая королю, должен был волей-неволей оказывать любезный прием этим неотесанным фламандским бургомистрам и угощать их в своем Бурбонском дворце представлением «весьма прекрасной моралите, шуточной пьесы и фарса», в то время как проливной дождь хлестал по его великолепным коврам, разостланным у входа во дворец.

Но 6 января причиной волнения всех жителей Парижа, как говорит Жеан де Труайе, было установившееся с незапамятных времен двойное празднество — праздник Богоявления и праздник шутов. В этот день бывала иллюминация на Гревской площади, посадка майского дерева в Бракской часовне и мистерия во Дворце правосудия.

Об этом провозгласили накануне на всех перекрестках, при звуках труб, городские глашатаи в красивых одеждах из фиолетового камлота, с большими белыми крестами на груди.

Толпы горожан и горожанок, заперев дома и лавки, направились с самого утра по трем разным направлениям. Одни шли на Гревскую площадь, другие — в часовню, третьи — смотреть мистерию. И нужно отдать справедливость здравому смыслу тогдашних парижских зевак: большинство из них предпочло иллюминацию, как раз подходящую ко времени года, и мистерию, которая должна была разыгрываться в большом зале Дворца, хорошо защищенном от непогоды. Бедному майскому дереву, едва покрытому листьями, любопытные предоставили одиноко зябнуть под январским небом на кладбище Бракской часовни.

Особенно много народу стекалось по улицам, ведущим ко Дворцу правосудия, так как было известно, что прибывшие два дня тому назад фламандские послы будут присутствовать на представлении и при избрании папы шутов, которое тоже должно было состояться в большом зале. Нелегко было пробраться в этот зал, считавшийся тогда самым большим на свете. (Действительно, тогда еще Соваль не измерял большого зала в замке Монтаржи.)

Залитая народом площадь перед Дворцом правосудия представлялась тем, кто смотрел на нее из окон, волнующимся морем, куда пять или шесть улиц изливали каждую минуту, подобно рекам, новые волны голов. И эти волны, все увеличиваясь, разбивались об углы домов, выступавших, словно мысы, то тут то там, в неправильном вместилище площади.

В центре высокого готического[5] фасада Дворца правосудия с большой лестницы непрерывно поднимались и спускались толпы народу, разделяясь на верхней площадке и разливаясь широкими волнами по двум большим спускам, словно водопады. От криков, смеха, топота тысяч ног над площадью стояли страшный шум и гул. По временам этот шум усиливался, течение, несшее всю эту толпу к лестнице, внезапно поворачивало назад, и начинался какой-то водоворот. Это происходило тогда, когда полицейский страж ударял кого-нибудь ружейным прикладом или конный сержант врезался в толпу, чтобы водворить порядок; эта милая традиция, завещанная старшинами города коннетаблям, от коннетаблей перешла по наследству к объездной команде, а уж затем к теперешней жандармерии Парижа.

У дверей, у окон, на крышах, на чердаках — всюду виднелись тысячи добродушных, честных лиц горожан, глазевших на Дворец, на толпу и не желавших ничего больше. Многие парижане довольствуются тем, что лишь смотрят на других зрителей; даже стена, за которой происходит что-нибудь, уже представляет для них интерес.

Если бы мы, живущие в 1830 году, могли хоть мысленно смешаться с парижанами пятнадцатого века и войти вместе с ними, толкаясь, работая локтями и вертясь в гуще толпы, в огромный зал суда, казавшийся 6 января 1482 года столь тесным, мы увидели бы интересное и чарующее зрелище, нас окружали бы вещи столь старинные, что они показались бы нам совсем новыми.

Если читатель согласен, мы попробуем воспроизвести хоть мысленно то впечатление, которое мы с ним испытали бы, переступив за порог большого зала вместе с этой разношерстной толпой.

Прежде всего мы были бы оглушены страшным шумом и ослеплены роскошью и блеском. Вверху, над нашими головами, — двойной стрельчатый бледно-голубой свод, украшенный деревянной резьбой и усеянный золотыми лилиями; внизу, под ногами, — пол из черных и белых мраморных плит. В нескольких шагах от нас — громадная колонна, потом другая, третья. Всего вдоль зала семь колонн, поддерживающих двойной свод.

Вокруг первых четырех колонн — лавочки торговцев, сверкающие стеклом и разными побрякушками; вокруг трех остальных — дубовые скамьи, немало послужившие на своем веку, гладко отполированные одеждой тяжущихся и мантиями прокуроров. Кругом зала, вдоль высоких стен, между колоннами и в простенках между дверями и окнами, — бесконечный ряд статуй французских королей, начиная с Фарамонда, королей-лентяев с повисшими руками и опущенными глазами и королей мужественных, воинственных, смело поднявших к небу головы и руки. В высоких стрельчатых окнах вставлены тысячи разноцветных стекол. Великолепные двери украшены тонкой резьбой. И все это — свод, колонны, стены, наличники, потолок, двери, статуи — чудесного голубого цвета с золотом, уже несколько потускневшего в то время и вовсе исчезнувшего под пылью и паутиной к 1549 году, когда де Брель восхищался им уже только по преданию.

Теперь представьте себе этот громадный продолговатый зал, освещенный бледным светом январского дня, с нахлынувшей в него пестрой шумной толпой, и вы в общем получите о нем некоторое понятие, а интересные частности мы постараемся описать более точно.

Разумеется, если бы Равальяк не убил Генриха IV, в канцелярии дворца не хранились бы документы по его делу, не было бы сообщников, заинтересованных в исчезновении этих документов, а следовательно, не было бы и поджигателей, вынужденных, за неимением лучшего средства, сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь самый Дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию. Не было бы пожара 1618 года, старинный дворец сохранился бы до сих пор, и я мог бы сказать читателю: «Сходите посмотреть на большой зал». И мне не пришлось бы описывать его, а читателю — читать это посредственное описание. Все это служит доказательством новой истины, что великие события имеют неисчислимые последствия.

Возможно, конечно, что у Равальяка не было сообщников, а если он и имел их, то они все-таки могли быть неповинны в пожаре 1618 года. Существуют еще два весьма вероятных предположения. Во-первых, все знают, что 7 марта, после полуночи, большая пылающая звезда шириною в фут, длиною в локоть упала с неба на Дворец правосудия. Во-вторых, существует следующее четверостишие Теофиля:

Certes, ce fut un triste jeu,
Quand a Paris dame Justice,
Pour avoir mangé trop dépite,
Se mit tout le palais en feu[6].

Но как бы мы ни смотрели на эти три толкования — политическое, физическое и поэтическое, — событие, к сожалению, неопровержимое, пожар Дворца правосудия в 1618 году, остается налицо. По милости этого пожара, а в особенности по милости позднейшей реставрации, погубившей то, что пощадил пожар, в настоящее время почти ничего не осталось от этого первого дворца французских королей. Он был древнее Лувра и уже в царствование Филиппа Красивого считался таким старинным, что в нем находили много общего с великолепными постройками, воздвигнутыми королем Робертом и описанными Гельгальдусом. И почти все исчезло. Что

сталось с канцелярией, где Людовик Святой «скрепил свой брак»? С садом, где он, «одетый в камлотовое платье, камзол без рукавов из грубого сукна и черный плащ, решал дела, лежа на ковре вместе с Жуанвилем»? Где комнаты императора Сигизмунда, Карла IV, Иоанна Безземельного? Где лестница, с которой Карл IV провозгласил свой милостивый эдикт? Плита, на которой Марсель, в присутствии дофина, зарезал Роберта Клермонского и маршала Шампанского? Калитка, где были разорваны буллы антипапы Бенедикта и откуда вышли его посланные, наряженные в шутовские мантии и митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа? Где большой зал с его голубой окраской, позолотой, статуями, колоннами, с его стрельчатым сводом, покрытым резьбой? А позолоченная комната? А каменный лев около дверей с опущенной головой и поджатым хвостом, как у львов Соломонова трона, — символ силы, смиренно склоняющейся перед правосудием? А великолепные двери и цветные оконные стекла? А резные дверные ручки, приводившие в отчаяние Бикорнета? А изящная столярная работа дю Ганси?.. Что сделало время, что сделали люди со всеми этими чудесами? И что дали нам взамен этой истории галлов, этого готического стиля? Тяжелые полукруглые своды де Бросса, построившего неуклюжий портал Сен-Жерве, — по части искусства, а по части истории — вздорную болтовню господ Патрю о главной колонне. Нельзя сказать, чтобы это было много.

Но вернемся к настоящему большому залу настоящего старинного дворца...

Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом, таким длинным, широким и толстым, что, по выражению старинных рукописей, он был способен возбудить аппетит у Гаргантюа, потому что подобного куска мрамора в мире не бывало. На противоположном конце зала находилась часовня, где Людовик XI велел поставить свою коленопреклоненную статую перед образом Божией Матери и куда, по его приказанию, невзирая на то что в ряду королевских статуй остались две пустые ниши, были перенесены статуи Карла Великого и Людовика Святого, двух святых, пользующихся, по его мнению, в качестве французских королей большим влиянием на небе. Эта часовня, совсем новая, существовавшая всего лет шесть, была в том изящном, прелестном

архитектурном стиле, с чудесными скульптурными украшениями и тонкой резьбой, который заканчивает готическую эру и продолжается до середины шестнадцатого столетия в волшебных, причудливых созданиях эпохи Возрождения. Тончайшим произведением искусства была небольшая вделанная над входом сквозная розетка, необыкновенно изящной и тонкой работы. Она казалась сотканной из кружева звездой.

Посреди зала, напротив главного входа, около стены возвышалась обтянутая золотой парчой эстрада, на которую был устроен отдельный ход через окно коридора, находящегося перед золоченой комнатой. Эта эстрада была приготовлена для фламандских послов и других знатных особ, приглашенных на представление.

Мистерия, по издавна установившемуся обычаю, должна была разыгрываться на мраморной площадке, приготовленной с самого утра. На великолепной мраморной доске, исцарапанной каблуками судебных писцов, стояла довольно высокая деревянная клетка. Верхняя ее часть, хорошо видная всем зрителям, должна была служить сценой, а внутренняя, замаскированная коврами, — одевальной для актеров. Лестница, наивно приставленная к клетке снаружи, предназначалась для сообщения сцены с одевальной, и по ней должны были входить и уходить актеры. Как ни внезапно должно было появиться какое-нибудь действующее лицо, ему все-таки приходилось взбираться по этой лестнице, и каким неожиданным ни предполагался какой-нибудь сценический эффект, нельзя было обойтись без этих ступенек. Невинное и почтенное детство искусства и механики!

Четыре сержанта дворцового судьи, обязанные присутствовать при всех народных развлечениях как в дни празднеств, так и во время казней, стояли по четырем углам мраморной площадки.

Представление должно было начаться ровно в двенадцать — с последним ударом дворцовых часов. Это было, конечно, слишком поздно для театрального представления, но приходилось поневоле считаться с удобствами фламандских послов.

Между тем вся толпа, теснившаяся в зале, ждала здесь с самого утра. Многие из любопытства пришли на площадь, как только занялась заря, и терпеливо стояли там, дрожа от холода, а некоторые даже утверждали, что провели всю ночь у главного входа, чтобы наверняка войти первыми. Толпа увеличивалась с каждой минутой и, как река,

выступившая из берегов, поднималась около стен, вздувалась вокруг колонн, разливалась по карнизам, подоконникам, выступам и всем выпуклостям скульптурных украшений.

От давки, скуки, нетерпения, свободы сумасбродного и шутовского дня, ссор, разгоравшихся из-за каждого пустяка — торчащего локтя или подбитого гвоздями башмака, — в криках этого стиснутого, запертого, задыхавшегося народа начало звучать раздражение еще задолго до прибытия послов. Со всех сторон раздавались жалобы и проклятия по адресу фламандцев, купеческого старшины, кардинала Бурбонского, судьи, Маргариты Австрийской, сержантов с жезлами, холода, жары, дурной погоды, парижского епископа, Папы, шутов, колонн, статуй, запертой двери, открытого окна. Все это очень забавляло затесавшихся в толпу студентов и слуг, старавшихся еще больше подзадорить недовольных, раздражая их, словно булавочными уколами, язвительными остротами и насмешками.

Особенно отличалась одна группа веселых забияк, которые, выбив в окне стекла, бесстрашно уселись на подоконник и оттуда осыпали насмешками попеременно то толпу на площади, то толпу в зале. По их оживленным жестам, звонкому хохоту, по тому, как весело перекликались они через весь зал с товарищами, видно было, что эти молодые люди не скучают и не томятся, как остальная публика, и что это зрелище вполне их удовлетворяет в ожидании другого.

— Черт побери, да это ты, Жан Фролло де Молендино! — крикнул один из них, увидав маленького белокурого бесенка с хорошеньким, плутовским личиком, повисшего на акантах капители. — Ну, недаром же тебя зовут Жаном Фролло Муленом[7]. Твои руки и ноги и впрямь похожи на четыре крыла ветряной мельницы. Давно ты здесь?

— Да уж побольше четырех часов, — ответил Жан Фролло. — Надеюсь, они зачтутся мне, когда я попаду в чистилище. Я слышал, как восемь певчих сицилийского короля начали петь в семь часов раннюю обедню в капелле.

— Отличные певчие! Голоса их, пожалуй, еще пронзительнее их остроконечных колпаков. Только, прежде чем служить обедню святому Иоанну, королю следовало бы разузнать, нравятся ли святому Иоанну латинские псалмы с провансальским акцентом.

— И все это сделано для того, чтобы эти проклятые сицилийские певчие могли зашибить деньгу! — резко крикнула старуха, стоявшая в

толпе под окном. — Подумать только! Тысячу ливров за одну обедню! Да еще из налога с продажи морской рыбы на парижских рынках!

— Помолчи, старуха! — сказал важный толстяк, стоявший возле рыбной торговли и зажимавший себе нос. — Нельзя было не отслужить обедни. Разве тебе хочется, чтобы король опять заболел?

— Ловко сказано, мэтр Жилль Лекорню, придворный меховщик! — закричал маленький студентик, прицепившийся к капители.

Все школяры громко захохотали, услышав злосчастное имя придворного поставщика мехов.

— Лекорню! Жилль Лекорню![8] — кричали они.

— Cornutus et hirsutus![9] — прибавил кто-то.

— Ну, ясно, — продолжал маленький дьяволенок на капители. — И чему они смеются? Этот почтенный человек, Жилль Лекорню, — брат Жана Лекорню, смотрителя королевского дворца, сын Маги Лекорню, главного сторожа в Венсенском лесу. Все они парижские горожане, и все до одного женаты.

Хохот усилился. Толстый меховщик, не говоря ни слова, старался скрыться от устремленных на него со всех сторон глаз. Но тщетно пытался он и обливался потом: он торчал как клин, вбитый в дерево, и, сколько ни старался, только и мог, что спрятать за плечи соседей свое толстое, побагровевшее от досады и гнева лицо.

Наконец один из его соседей, такой же толстый, коренастый и почтенный, как он сам, пришел к нему на помощь.

— Безобразие! — воскликнул он. — Как смеют студенты так издеваться над горожанином! В мое время их высекли бы за это розгами, а потом сожгли бы на костре из этих самых розг.

Вся банда студентов накинулась на него:

— Эй! Кто это распевает там? Что это за зловещая сова?

— Постойте-ка, я знаю его! — воскликнул кто-то. — Это мэтр Андри Мюнье.

— Один из четырех присяжных книгопродавцов университета! — подхватил другой.

— В этой лавчонке всякого добра по четыре штуки! — крикнул третий. — Четыре нации, четыре факультета, четыре праздника, четыре попечителя, четыре избирателя и четыре книгопродавца.

— Ну, так мы четырежды наделаем им хлопот! — вскричал Жан Фролло.

— Мюнье, мы сожжем твои книги!
— Мюнье, мы поколотим твоего слугу!
— Мюнье, мы намнем бока твоей жене!
— Что за славная толстуха — эта госпожа Ударда!
— И притом так свежа и весела, как будто овдовела!
— Черт побери вас всех! — пробормотал Мюнье.
— Молчи, мэтр Андри, а не то я свалюсь тебе прямо на голову, — сказал Жан, все еще висая на своей капители.

Мэтр Андри поднял глаза, смерил высоту капители, определил приблизительную тяжесть Жана и, помножив ее в уме на квадрат скорости, замолчал.

— Так-то лучше, — злорадно проговорил Жан, торжествуя победу.
— Я это сделал бы, хоть и прихожусь родным братом архидьякону.

— Что за жалкое начальство сидит у нас в университете! Они даже не подумали ознаменовать наши привилегии в такой день, как сегодня! В городе — праздник мая и иллюминация; здесь — мистерия, папа шутов и послы; у нас в университете — ничего!

— А между тем площадь Мобер, кажется, достаточно велика, — заметил один из студентов, сидевших на подоконнике.

— Долой ректора, избирателей и попечителей! — крикнул Жан.

— Устроим сегодня иллюминацию из книг мэтра Андри, — вторил ему другой.

— И из пюпитров писцов! — подхватил его сосед.

— И из жезлов надзирателей!

— И из плевательниц деканов!

— И из шкафов прокуроров!

— И из скамеек ректора!

— Долой! — зажужжал, как пчела, маленький Жан. — Долой мэтра Андри, надзирателей и писцов! Теологов, медиков и докторов богословия! Попечителя, избирателей и ректора!

— Настоящее светопреставление! — пробормотал Мюнье, затыкая уши.

— Вот, кстати, и ректор! Вот он пересекает площадь! — крикнул один из сидевших на окне.

Все устремили глаза на площадь.

— Неужели это в самом деле наш достопочтенный ректор, мэтр Тибо? — спросил Жан Фролло де Мулен; висая на капители, он не мог

видеть площади.

— Да, да! — закричали ему. — Это он сам, мэтр Тибо, ректор!

И действительно, ректор и все университетские власти двигались процессией перед послами и в настоящую минуту пересекали Дворцовую площадь. Сидевшие на окне студенты встретили их саркастическими выкриками и насмешливыми рукоплесканиями. Ректору, ехавшему впереди, достался первый оглушительный залп.

— Здравствуйте, господин ректор! Эй! Да здравствуйте же!

— Как он попал сюда, этот старый игрок? Как он решился расстаться с игральными костями?

— Смотрите, как он подпрыгивает на муле. А ведь, право же, у мула уши короче, чем у него самого!

— Здравствуйте, господин ректор Тибо! *Tybalde aleator*[10]. Старый дуралей! Старый игрок!

— Много ли раз выбросили вы двойную шестерку сегодня ночью?

— Что за отвратительная рожа — бледная, испитая, помятая! А все страсть к азартной игре!

— Куда это вы едете, Тибо, *Tybalde ad dados*? Повернувшись спиной к университету, а лицом к городу?

— Он, наверное, едет искать квартиру в улице Тиботодэ![11] — крикнул Жан де Мулен.

Вся компания с ревом повторила его остроту и неистово захлопала в ладоши.

— Вы, значит, хотите поселиться в улице Тиботодэ, ведь так, господин ректор, чертов игрок?

Потом наступила очередь других сановников университета.

— Долой надзирателей! Долой жезлоносцев!

— А это что за птица? Не знаешь ли ты, Робен Пуспен, кто это?

— Это Жильбер де Сюильи, *Gilbertus de Soliaco*, канцлер Отенской коллегии.

— Постой, вот мой башмак. Тебе ловчее, брось-ка его ему в физиономию!

— *Saturnialitias mittimus ecce nuces*[12].

— Долой шестерых богословов с их белыми стихарями!

— Так это-то богословы? А я думал, что это шесть белых гусей, которых святая Женевьева пожертвовала городу.

— Долой медиков!

— Долой диспуты на заданный и выбранный по желанию тезис!

— А! Вот канцлер святой Женевьевы, швырну-ка в него своей шапкой! Немало он мне насолил! Он отдал мое место у нормандцев маленькому Асканию Фальзаспада из Буржской провинции, потому что он итальянец.

— Это несправедливо! — закричали все студенты. — Долой канцлера святой Женевьевы!

— Эй! Иоахимде Ладегор! Э-гей! Луи Дагюиль! Э-гей! Ламбер-Гоктеман!

— Ко всем чертям покровителя германской нации!

— И капелланов капеллы с их серым меховым облачением! *Cum tunicis grisis*[13].

— *Seu de pellibus grisis furratis*[14].

— Ого! Профессора университета! Все красивые черные мантии! Все красивые красные мантии!

— У ректора получился недурной хвост.

— Право же, можно подумать, что это венецианский дож идет обручаться с морем!

— Смотри-ка, Жан! Каноники Святой Женевьевы!

— К черту каноников!

— Аббат Клод Шоар! Доктор Клод Шоар! Вы, должно быть, ищите Мари Жиффар?

— Она живет на улице Глатиньи!

— Она греет постель королю распутников!

— Она выплачивает свои четыре денье — *quatuor denarios*.

— *Aut unum bombum*[15].

— Вы хотите, чтобы она дала вам по носу?

— Смотрите! Это едет Симон Сангэн, избиратель из Пикардии, а сзади сидит его жена.

— *Post equitem sedet atra cura*[16].

— Смелее, мэтр Симон!

— Доброго утра, господин избиратель!

— Спокойной ночи, госпожа избирательница!

— Какие счастливыцы — им видно все! — со вздохом проговорил Жан де Мулен, все еще цепляясь за завитки своей капители.

Между тем книгопродавец университета Андри Мюнье нагнулся к уху королевского меховщика Жилля Лекорню.

— Ну, право же, сударь, пришел конец света! — сказал он. — Никогда еще не видано было такой распушенности студентов. А всему виной эти проклятые новые изобретения — пушки, кулеврины, бомбарды, а в особенности книгопечатание — еще одна немецкая язва! Не будет больше ни рукописных сочинений, ни книг. Да, книгопечатание убивает книжную торговлю. Пришел конец мира!

— Верно, верно! Это видно уж по тому, как бойко стал расходиться бархат, — заметил меховщик.

В эту минуту пробило двенадцать.

— А! — в один голос воскликнула вся толпа.

Студенты замолчали; в зале поднялась страшная суматоха. Головы задвигались, ноги зашаркали, люди начали оглушительно кашлять и сморкаться; каждый старался устроиться поудобнее; затем наступила глубокая тишина. Все шеи вытянулись, все рты открылись, все глаза устремились к мраморной площадке. Но там не было никого. Только четыре сержанта, вытянувшись в струнку, продолжали стоять неподвижно, как раскрашенные статуи. Все взгляды обратились к эстраде, приготовленной для посольства; дверь была затворена, и эстрада пуста. Вся эта толпа ждала с самого утра, полдня, посольства и мистерии. Но лишь один полдень настал вовремя.

Это было уж слишком.

Подождали одну, две, три, пять минут, четверть часа — представление не начиналось. Эстрада оставалась по-прежнему пустой, сцена — немой. Нетерпение начало сменяться гневом. Послышались недовольные возгласы — правда, еще негромкие — и сдержанный гул голосов: «Мистерию! Мистерию!» Возбуждение росло. Буря, пока еще вызывавшая лишь ропот, готова была разразиться каждую минуту. Первая искра вспыхнула благодаря Жану де Мулену.

— Мистерию, и к черту фламандцев! — крикнул он во всю силу своих легких, обвившись, как змея, вокруг капители.

Толпа захлопала в ладоши.

— Мистерию! — заревела она. — Ко всем чертям Фландрию!

— Начинайте мистерию, и сию же минуту! — продолжал студент. — А не то мы взамен представления повесим судью!

— Верно, верно! — подхватила толпа. — А для начала повесим его сержантов.

Поднялся страшный шум и крики. Несчастные сержанты побледнели и переглянулись. Толпа надвигалась на них, того и гляди рухнет легкая деревянная балюстрада, отделяющая их от зрителей.

Минута была критическая.

— Вздернуть их! Вздернуть! — кричали со всех сторон. Вдруг ковер, закрывавший вход в одевальную, откинулся, и показался человек, один вид которого усмирил толпу и, словно по волшебству, превратил ее гнев в любопытство.

— Тише! Тише! — раздалась отовсюду голоса.

Вошедший неуверенно и боязливо шел по площадке, ежеминутно кланяясь. И чем ближе он подходил к краю, тем ниже становились его поклоны и тем больше были они похожи на коленопреклонение.

Между тем шум мало-помалу затих. Остался только тот легкий гул, который всегда стоит над замолчавшей толпой.

— Господа горожане и госпожи горожанки! — сказал вошедший. — Мы будем иметь честь представлять и декламировать перед его преосвященством господином кардиналом прекрасную моралите, под названием «Премудрый суд Пресвятой Девы Марии». Я буду играть Юпитера. Его преосвященство сопровождает в настоящую минуту достопочтенное посольство герцога Австрийского, которое несколько замешкалось, слушая приветственную речь господина ректора университета у ворот Бодэ. Как только прибудет его преосвященство господин кардинал, мы тотчас же начнем представление.

Только вмешательство самого Юпитера и могло спасти четырех судейских сержантов. Если бы мы сами выдумали эту правдивую историю и были ответственны за нее перед судом почтеннейшей критики, то против нас нельзя было бы выставить классическое правило «Nec deus intersit»[17]. Кроме того, костюм Юпитера был очень красив и немало способствовал успокоению толпы, так как привлек всеобщее внимание. Юпитер был в латах, обтянутых черным бархатом, прикрепленным золотыми гвоздиками; на голове его была шапочка, украшенная серебряными вызолоченными шишечками. И если бы толстый слой румян не покрывал верхней части его лица, а густая рыжая борода не закрывала нижней; если бы он не держал в руках позолоченной картонной трубки, усеянной блестками и мишурой, в которой опытный глаз сейчас же узнал бы молнию; если бы не его ноги, обтянутые телесным трико и перевитые на греческий

манер лентами, — то он строгостью своей осанки мог бы поспорить с любым бретонским стрелком из отряда герцога Беррийского.

II. Пьер Гренгуар

Восхищение, вызванное костюмом Юпитера, мало-помалу проходило по мере того, как он говорил свою речь. А когда он дошел до злополучного заключения: «Как только прибудет его преосвященство господин кардинал, мы тотчас же начнем представление», — голос его был заглушен громкими криками.

— Начинайте сейчас же! Мистерию! Мистерию! Сейчас же начинайте мистерию! — кричал народ.

Громче всех звучал пронзительный голос Жана де Мулена, выделявшийся как звук флейты среди грома других инструментов.

— Начинайте сию же минуту! — визжал студент.

— Долой Юпитера и кардинала Бурбонского! — вопили Робен Пуспен и клерки, сидевшие на окне.

— Играйте моралите, — ревела толпа. — Сейчас же! Сию же минуту! А не то мы повесим комедиантов и кардинала!

Бедный Юпитер, растерянный, перепуганный, побледневший под румянами, уронил молнию, снял шапочку, задрожал всем телом и, низко кланяясь, пробормотал: «Его преосвященство... послы... госпожа Маргарита Фландрская...» Он не знал, что сказать. Он всерьез испугался, что его могут повесить. Его повесит народ, если он будет ждать кардинала, его повесит кардинал, если он не станет ждать его. И в том и в другом случае — виселица.

К счастью, нашелся человек, пожелавший вывести его из затруднения и взять ответственность на себя.

До сих пор этот так неожиданно явившийся спаситель стоял в промежутке между балюстрадой и мраморным помостом. Его никто не замечал, так как колонна скрывала от публики его длинную тощую фигуру. Это был высокий, худой, бледный белокурый человек с блестящими глазами, улыбающийся, еще молодой, но уже с морщинами на лбу и на щеках. На нем была черная саржевая одежда, сильно потертая и лоснившаяся от времени. Он подошел к

мраморному помосту и сделал знак несчастному Юпитеру. Но тот, совсем растерявшись, не замечал его.

— Юпитер! — позвал его незнакомец, подойдя еще ближе. — Любезный Юпитер!

Юпитер не слышал его.

Тогда высокий блондин, потеряв терпение, крикнул ему чуть не в самое ухо:

— Мишель Жиборн!

— Кто меня зовет? — спросил Юпитер, словно внезапно пробудившись от сна.

— Я! — ответил незнакомец в черном.

— А! — сказал Юпитер.

— Начинайте сейчас же. Удовлетворите публику. Я берусь утихомирить судью, а тот утихомирит кардинала.

Юпитер облегченно вздохнул.

— Господа горожане! — воскликнул он насколько мог громче, обращаясь к толпе, продолжавшей кричать и свистеть. — Мы сию минуту начнем представление!

— Evoe, Jupiter! Plaudite, cives![18] — закричали студенты.

— Bravo! Bravo! — заревела толпа.

Раздался оглушительный взрыв рукоплесканий, и даже после того, как Юпитер скрылся в одеальной, весь зал еще дрожал от криков одобрения.

Между тем незнакомец, превративший, как по волшебству, «бурю в штиль», как выражается наш милый старый Корнель, скромно удалился за свою колонну. Он, наверное, там бы и остался, по-прежнему невидимый для публики, по-прежнему безмолвный и неподвижный, если бы его не вызвали оттуда две молодые девушки, сидевшие в первом ряду зрителей и заметившие его разговор с Мишелем Жиборном — Юпитером.

— Мэтр! — сказала одна из них, делая знак подойти.

— Молчи, милая Лиенарда, — остановила ее сидевшая рядом с ней хорошенькая, свеженькая, разряженная по-праздничному девушка. — Он к клиру не принадлежит, он мирянин. Его нужно называть не «мэтр», а «мессир».

— Мессир! — сказала Лиенарда.

Незнакомец подошел к балюстраде.

— Что вам угодно, сударыни? — любезно спросил он.

— Нет... ничего! — смутившись, ответила Лиенарда. — Не я, а моя соседка, Жискета ла Жансьен, хотела вам что-то сказать.

— Неправда, — возразила Жискета, покраснев. — Это Лиенарда сказала вам «мэтр». А я поправила ее, объяснив, что нужно назвать вас «мессир».

Обе молодые девушки опустили глазки. Незнакомец, который, по-видимому, был не прочь продолжать разговор, улыбаясь, смотрел на них.

— Так я ничем не могу служить вам, сударыни? — спросил он.

— О, ничем! — ответила Жискета.

— Совершенно ничем, — добавила Лиенарда.

Высокий блондин сделал шаг назад, собираясь уйти. Но две любопытные девушки не имели ни малейшего желания выпустить так легко свою добычу.

— Мессир, — заговорила Жискета с той стремительностью, которая свойственна водяному потоку и женской болтовне, — значит, вы знаете этого солдата, который будет играть роль Пресвятой Девы в мистерии?

— То есть вы хотите сказать — роль Юпитера? — спросил незнакомец.

— Конечно! — воскликнула Лиенарда. — Какая она глупая! Так вы знаете Юпитера?

— Мишеля Жиборна? Да, сударыня.

— Какая у него красивая борода! — сказала Лиенарда.

— А хорошо то, что они будут представлять? — застенчиво спросила Жискета.

— Великолепно, сударыня, — без малейшего колебания ответил блондин.

— Что же это будет? — спросила Лиенарда.

— «Премудрый суд Пресвятой Девы Марии» — моралите, сударыня.

— А, это дело другое! — сказала Лиенарда.

Наступила короткая пауза. Незнакомец прервал ее.

— Это совершенно новая моралите, — заметил он, — ее еще ни разу не играли.

— Значит, это не та, — спросила Жискета, — которую давали два года тому назад, в тот день, как в город въезжал легат? Там еще играли три хорошенькие девушки, которые изображали...

— Сирен... — подсказала Лиенарда.

— И совсем голых, — прибавил молодой человек.

Лиенарда стыдливо опустила глаза. Жискета взглянула на нее и последовала ее примеру.

— Да, это была очень интересная пьеса, — продолжал их собеседник. — Но сегодня будут играть моралите, написанную нарочно для герцогини Фландрской.

— А будут петь пастушеские песенки? — спросила Жискета.

— Помилуйте, разве это возможно в моралите? Не нужно смешивать разные жанры. Будь это шуточная пьеса, тогда дело другое.

— Жаль, — сказала Жискета. — В день приезда легата у фонтана Понсо играли прекрасную пьесу. Мужчины и женщины — их было очень много — представляли дикарей, сражались между собою и пели пастушеские песни и мотеты.

— То, что хорошо для легата, — довольно сухо заметил молодой человек, — не подходит для принцессы.

— И тогда, — сказала Лиенарда, — на различных инструментах исполняли чудесные мелодии.

— А чтобы прохожие могли освежиться, — подхватила Жискета, — из трех отверстий фонтана били вино, молоко и напиток с пряностями. Всякий мог пить сколько угодно.

— А немножко дальше фонтана, у Троицы, — продолжала Лиенарда, — актеры безмолвно представляли страсти Христовы.

— Ах, как хорошо я помню это! — воскликнула Жискета. — Господь на кресте и два разбойника по правую и по левую сторону.

Тут молодые подружки, разгоряченные воспоминаниями обо всем виденном в день въезда легата, затараторили разом, перебивая друг друга:

— А немного дальше, у Ворот живописцев, как великолепно были одеты актеры!

— А помнишь охотника, который около фонтана Святого Иннокентия гнался за козочкой, и собаки громко лаяли, и трубили рога?

— А около парижской бойни были устроены подмости, изображавшие Дьепскую крепость...

— И когда мимо проезжал легат, — помнишь, Жискета? — начался приступ, и всех англичан перерезали.

— А какие прекрасные актеры были у ворот Шатлэ!

— А что творилось у моста Шанж!

— А как только легат въехал на мост, выпустили больше двухсот дюжин всяких птиц. Ах, как это было красиво, Лиенарда!

— Сегодня будет еще лучше, — сказал их собеседник, по-видимому, с нетерпением слушавший их болтовню.

— Вы ручаетесь, что мистерия будет хороша? — спросила Жискета.

— Вполне, — ответил он и прибавил несколько напыщенно: — Я автор этой пьесы, сударыни.

— Неужели? — воскликнули изумленные девушки.

— Совершенно верно, — ответил поэт, слегка выпятив грудь. — Нас, собственно, двое: Жан Маршан напил доски и сколотил театр, а я написал пьесу. Меня зовут Пьер Гренгуар.

Даже автор «Сида» не сумел бы более гордо произнести свое имя: Пьер Корнель.

Читатель, наверное, заметил, что должно было пройти уже порядочно времени с тех пор, как Юпитер ушел в одевальную, до той минуты, как Пьер Гренгуар объявил девушкам, что он автор новой моралите, и тем вызвал их наивное восхищение. Странная вещь! Вся эта толпа, такая буйная всего несколько минут тому назад, теперь добродушно ждала, успокоенная обещанием актера. Новое доказательство той вечной истины, которая ежедневно подтверждается и в наших театрах, что лучший способ заставить публику терпеливо ждать — это объявить ей: «Представление сейчас начнется!» Однако студента Жана провести было не так просто.

— Эй! — раздался вдруг его голос, нарушая мирную тишину, сменившую шум и волнение. — Юпитер, Пречистая Дева и все прочие чертовы фигляры! Насмехаетесь вы, что ли, над нами? Пьесу! Пьесу! Начинайте, а не то опять начнем мы!

Этого возгласа оказалось вполне достаточно.

Изнутри стоявшей на столе огромной клетки послышались звуки высоких и низких инструментов; ковер, закрывавший вход, откинулся,

из одеваальной вышли четверо нарумяненных актеров в пестрых костюмах. Они вскарабкались по крутой лестнице и, добравшись до сцены, выстроились в ряд перед публикой и низко поклонились. Музыка смолкла. Началась мистерия. Четыре актера, щедро вознагражденные за свои поклоны рукоплесканиями, начали среди благоговейной тишины пролог, от которого мы избавим читателя. Впрочем, и публика не особенно внимательно слушала его. Ее, как нередко бывает и в наши дни, гораздо больше занимали костюмы действующих лиц, чем их роли. А на костюмы этих четверых актеров действительно стоило посмотреть. Все они были в платьях наполовину желтых, наполовину белых, одинаковых по покрою, но из разной материи. Платье первого актера было из золотой и серебряной парчи, платье второго — из шелковой материи, третьего — из шерстяной и четвертого — из полотна. Первый держал в руке шпагу, второй — два золотых ключа, третий — весы, четвертый — лопату. А чтобы зрители, не умеющие быстро соображать, поняли, что означают эти атрибуты, на подоле парчового платья было вышито большими черными буквами: «Я — дворянство»; на подоле шелкового платья: «Я — духовенство»; на подоле шерстяного: «Я — купечество»; и на подоле полотняного: «Я — крестьянство». Каждый здравомыслящий человек мог сейчас же догадаться, какие из этих аллегорических фигур были мужского пола и какие женского, так как на первых платьях были короче, а головные уборы гораздо проще.

Нужно было также не хотеть понимать, чтобы не понять из стихотворного пролога, что Крестьянство состояло в браке с Купечеством, а Духовенство — с Дворянством и что у этих двух счастливых парочек был общий чудный золотой дельфин, которого они решили отдать самой красивой женщине в мире. Они отправились разыскивать эту красавицу по всему свету; отвергнув голкондскую королеву, трапезондскую принцессу, дочь великого хана татарского и многих других, Крестьянство, Купечество, Духовенство и Дворянство пришли отдохнуть на мраморном помосте Дворца правосудия, где принялись угощать почтенную публику таким огромным количеством афоризмов, остроумных изречений, софизмов и риторических фигур, что их могло бы хватить на весь факультет словесных наук, для всех добывающихся ученой степени.

Все шло прекрасно.

Но ни у кого из слушателей, на которых эти четыре аллегорические фигуры изливали целые потоки метафор, не было таких внимательных ушей, такого трепещущего сердца, такого напряженного взгляда и такой вытянутой шеи, как у самого автора, поэта Пьера Гренгуара, который несколько минут тому назад не мог устоять против желания назвать свое имя двум хорошеньким девушкам. Теперь он стоял в нескольких шагах от них, спрятавшись за колонну, слушал, смотрел и наслаждался. Поощрительные аплодисменты, приветствовавшие начало его пролога, еще звучали у него в ушах, и он забылся в том блаженном упоении, с каким автор внимает словам актера, передающего его мысли одну за другой среди безмолвия многочисленной публики.

Достойный Пьер Гренгуар!

Однако это восторженное состояние, как нам ни грустно сознаться в этом, было скоро нарушено. Едва Гренгуар успел поднести к губам эту опьяняющую чашу радости и триумфа, как в нее уже попала капля горечи.

Какой-то оборванный нищий, настолько затертый толпой, что не мог собирать милостыню, неудовлетворенный жалкими подачками своих соседей, решил взобраться на какое-нибудь видное местечко, надеясь привлечь внимание публики и выклянчить у нее побольше. И вот во время пролога он ухитрился вскарабкаться по столбам эстрады, приготовленной для почетных гостей, и добрался до карниза под балюстрадой, где и уселся на виду, стараясь разжалобить зрителей своими лохмотьями и язвой на правой руке. Он не произносил при этом ни слова, и пролог продолжался без помехи. Он и закончился бы, пожалуй, благополучно, если бы по несчастной случайности студент Жан не заметил со своей колонны кривлявшегося нищего. Повеса громко захохотал и, нисколько не заботясь о том, что прерывает представление и мешает внимательно слушающей публике, весело крикнул:

— Посмотрите-ка! Этот несчастный собирает милостыню!

Тот, кому случалось бросить камень в болото, где много лягушек, или выстрелить в стаю птиц, может легко представить себе, какое действие произвело на зрителей это неожиданное восклицание в то время, как все внимание их было обращено на сцену. Гренгуар вздрогнул, как от электрической искры. Пролог прервался, и все

головы сразу повернулись к нищему, которого это нимало не смутило. Он, напротив, нашел, что теперь самое подходящее время просить милостыню, и, полузакрыв глаза, жалобно затянул: «Подайте Христа ради».

— Вот так штука! — воскликнул Жан. — Клянусь, это Клопен Труйльфу. Эй, приятель! Должно быть, болячка на ноге мешала тебе, что ты перенес ее на руку?

Говоря это, он с ловкостью обезьяны бросил мелкую серебряную монету прямо в засаленную шапку, которую Клопен держал в своей больной руке. Нищий, не сморгнув, принял подаяние и насмешку и продолжал жалобно тянуть: «Подайте Христа ради!»

Этот случай послужил немалым развлечением для публики, и многие зрители с Робеном Пуспеном и всеми членами причта во главе весело аплодировали странному дуэту, который так неожиданно затеяли среди пролога студент, пронзительно кричавший, и монотонно причитавший нищий.

Гренгуар был возмущен. Оправившись от неожиданности, он изо всех сил закричал актерам:

— Продолжайте! Черт возьми, да продолжайте же! — Он не удостоил даже взглядом двух нарушителей тишины.

В эту минуту кто-то дернул его за платье. Он с досадой обернулся и едва мог заставить себя улыбнуться. А не улыбнуться было нельзя: это Жискета ла Жансьен, просунув свою хорошенькую ручку через решетку, старалась таким способом привлечь к себе его внимание.

— Сударь, — спросила девушка, — актеры будут продолжать?

— Конечно, — ответил несколько задетый этим вопросом Гренгуар.

— В таком случае, мессир, не будете ли вы любезны объяснить мне...

— Что они будут говорить? — прервал ее Гренгуар. — Извольте. Они...

— Нет, — сказала Жискета, — объясните мне, пожалуйста, что они говорили раньше!

Гренгуар вздрогнул, как вздрагивает человек, когда неосторожно дотронутся до его открытой раны.

— Черт бы побрал эту глупую девчонку! — сквозь зубы пробормотал он.

И с этой минуты Жискета погибла в его мнении. Между тем актеры повиновались ему и снова начали играть. Зрители, видя, что они заговорили, стали слушать. Но они все-таки были лишены возможности насладиться несколькими прекрасными местами пролога из-за злополучного перерыва, так неожиданно разделившего его на две части. Так, по крайней мере, с горечью подумал про себя Гренгуар. Все же тишина мало-помалу восстановилась; студент молчал, нищий считал монеты в своей шапке, а пьеса шла своим чередом.

Это была, в сущности, очень недурная пьеса, которая могла бы, пожалуй, с успехом пойти с некоторыми изменениями и в наше время. Положим, она, согласно тогдашним правилам, была слишком растянута и бессодержательна, зато она отличалась простотой, и Гренгуар в глубине души восхищался необыкновенной ясностью изложения.

Как и следовало ожидать, две аллегорические парочки немножко устали, обегав три части света и не найдя случая приличным образом отделаться от своего золотого дельфина[19]. А потому понятны бесконечные похвалы, которые они расточали своей чудесной рыбе, делая в то же время тонкие намеки на юного жениха Маргариты Фландрской. А он в это самое время сидел в печальном заточении в Амбуазе, нимало не подозревая, что Крестьянство, Купечество, Духовенство и Дворянство совершили ради него целое кругосветное путешествие. Итак, дельфин был молод, красив, силен и — что еще важнее — был сыном Льва Франции, отсюда все его царственные достоинства. Эта удивительная и смелая метафора, хотя и несогласная с законами природы, не казалась неестественной в аллегории, написанной по случаю предстоящего бракосочетания дофина. Дельфин — сын Льва! Что же, как не вдохновение, внушило поэту такое необыкновенное и смелое сопоставление!

Однако критик, наверное, заметил бы, что двухсот стихов, пожалуй, слишком много для развития прекрасной идеи автора. Но и в этом случае для него находилось оправдание: господин прево распорядился, чтобы мистерия продолжалась от двенадцати до четырех часов, и потому поэту поневоле приходилось быть многоречивым, — не могли же актеры стоять молча на сцене. Впрочем, слушали терпеливо.

Вдруг, в то время как ссора между Купечеством и Дворянством находилась в полном разгаре и Крестьянство произносило удивительный стих:

Onc ne vis dans les bois bâte plus triom phante...[20] —

дверь эстрады, которая до сих пор так некстати оставалась закрытой, теперь еще более некстати отворилась, и привратник громко провозгласил:

— Его преосвященство монсеньор кардинал Бурбонский!

III. Кардинал

Бедный Гренгуар! Треск огромных двойных петард в Иванов день, залп двадцати мушкетов, выстрел знаменитой пушки башни Бильи, которым в воскресенье 29 сентября 1465 года, во время осады Парижа, было убито сразу семеро бургундцев, взрыв всего хранящегося у ворот Тампля пороха оглушили бы его в торжественную и драматическую минуту меньше, чем эта коротенькая фраза слуги: «Его преосвященство монсеньор кардинал Бурбонский!»

Дело было не в том, что Пьер Гренгуар боялся кардинала или относился к нему с пренебрежением. Нет, он не был ни настолько малодушен, ни настолько высокомерен. Настоящий эклектик, как его назвали бы в наше время, он принадлежал к числу тех спокойных, уравновешенных людей, обладающих возвышенным и твердым умом, которые всегда и во всем держатся золотой середины (*stare in dimidio rerum*), здраво рассуждают и либерально философствуют, относясь в то же время с полным уважением к кардиналам. Этот замечательный тип философов никогда не исчезает. Мудрость, словно Ариадна, дает им клубок ниток, и они, разматывая его, шествуют от сотворения мира сквозь лабиринт человеческих дел. Они всегда одинаковы, то есть всегда умеют приноровиться к своему времени. Оставив в стороне Гренгуара, их представителя в пятнадцатом веке, мы легко найдем подобный же тип и в шестнадцатом. Стоит только припомнить великолепные в своей наивности и достойные всех веков взгляды отца де Брёля: «Я парижанин по происхождению и парижанин по манере говорить, потому что „*parrhisia*” по-гречески значит „свобода речи”. Я

всегда говорил без всякого стеснения правду монсеньорам кардиналам, дяде и брату монсеньора принца [Конти], конечно, с должным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, что было нелегко».

Итак, в неприятном впечатлении, произведенном на Гренгуара появлением кардинала, не было ни ненависти к нему, ни пренебрежения к его присутствию. Напротив, наш поэт обладал слишком большой дозой здравого смысла и слишком потертой одеждой, чтобы не оценить того, что намеки его пролога, а в особенности горячие похвалы дофину, сыну Льва Франции, будут услышаны святейшим ухом. Но у благородных поэтических натур расчет никогда не стоит на первом плане. Если обозначить совокупность всех достоинств и недостатков поэта цифрой десять и подвергнуть это целое тщательному химическому анализу, разложив его на составные части, то, вероятно, можно было бы установить, как говорит Рабле, что на девять десятых самолюбия приходится всего едва десятая корыстолюбия. А в ту минуту, как отворилась дверь эстрады, процент самолюбия Гренгуара, польщенного восхищением публики, так разросся, что совершенно похоронил под собой ту маленькую частичку корысти, которую мы только что обнаружили в натуре поэта вообще. Впрочем, эта частичка есть тот реальный человеческий вес, без которого поэт никогда бы не прикасался к земле, а парил бы в воздухе.

Гренгуар наслаждался, видя, чувствуя и как бы осязая все, правда, далеко не блестящее, собрание, которое изумлялось, цепенело и, казалось, задыхалось от нескончаемых тирад, сыпавшихся на него из каждой части его эпиталамы. Я утверждаю, что Гренгуар сам разделял всеобщий восторг и в полную противоположность Лафонтену, который, присутствуя при представлении своей комедии «Флорентинец», выкрикнул: «Какой это болван написал такую дрянь?» — он, наоборот, готов был спросить своего соседа: «Кем написан этот шедевр?» Можно представить себе поэтому, какое впечатление произвело на него шумное и неуместное появление кардинала.

Его опасения полностью оправдались. Прибытие его преосвященства всполошило всю аудиторию. Все головы повернулись к эстраде. Поднялся страшный шум. «Кардинал! Кардинал!» —

раздавалось со всех сторон. И несчастный пролог был прерван во второй раз.

Кардинал на минуту остановился у входа на эстраду и довольно равнодушно оглядел зрителей. Шум усилился, каждому хотелось получше рассмотреть кардинала; каждый вытягивал шею и клал голову на плечо соседа.

Это было действительно очень важное лицо, и взглянуть на него стоило всякого другого зрелища. Карл, кардинал Бурбонский, архиепископ и граф Лионский, примат Галльский, состоял в родстве и с Людовиком XI, на старшей дочери которого был женат его брат, синьор Пьер Божэ, и с Карлом Смелым по линии своей матери, Анны Бургундской. Отличительной чертой примата Галльского было то, что по натуре это был настоящий придворный, преклонявшийся перед властью. Можно представить себе, сколько затруднений вытекало для него из этого двойного родства и с каким трудом приходилось ему лавировать между подводными камнями, чтобы не натолкнуться ни на Людовика XI, ни на Карла — на Сциллу и Харибду, уже погубивших герцога Немурского и коннетабля Сен-Поля. К счастью, ему удалось избежать опасностей и благополучно достигнуть Рима. Но хотя теперь он и был у пристани или, вернее, именно поэтому, он не мог без тревоги вспоминать о препятствиях, встречавшихся ему в его политической жизни, так долго исполненной борьбы и труда.

Он имел обыкновение повторять, что 1476 год был для него «и черным и белым»: в этот год умерли его мать, герцогиня Бурбонская, и его двоюродный брат, герцог Бургундский; второй траур был для него утешением после первого.

Впрочем, это был довольно добродушный человек. Он вел веселую жизнь кардинала, с удовольствием попивал королевское вино Шальо, благосклонно относился к Ришарде ля Гармуаз и к Томасе ля Сайярд, гораздо охотнее подавал милостыню молодым девушкам, чем старухам, и благодаря всему этому пользовался большой популярностью у парижан. Он являлся всюду в сопровождении целого штата епископов и аббатов знатного происхождения, любезных, веселых, готовых при случае покутить. И часто разряженные прихожанки Сен-Жерменского предместья, проходя вечером мимо ярко освещенных окон Бурбонского дворца, бывали возмущены, слыша, как те же самые голоса, которые пели днем в церкви, теперь при звоне

стаканов распевали вакхическую песню Бенедикта XII, Папы, прибавившего третью корону к тиаре: «Vibamus paraliter»[21].

Должно быть, именно благодаря этой вполне заслуженной популярности толпа не встретила кардинала шиканьем, несмотря на то что была так враждебно настроена против него всего несколько минут тому назад, да еще нисколько не расположенная относиться с уважением к кардиналу в тот самый день, как ей самой предстояло выбирать себе папу. Но парижане не злопамятны. Они заставили начать представление, не дожидаясь прибытия его преосвященства, и эта победа удовлетворила их. Да к тому же кардинал Бурбонский был очень красив, на нем была великолепная красная мантия, которая очень к нему шла. Значит, на его стороне были все женщины и, следовательно, лучшая часть зрителей. Ведь и в самом деле было бы несправедливо и бестактно шикать кардиналу за то только, что он немножко опоздал, когда он такой красивый и к нему так идет его красная мантия.

Он вошел и поклонился присутствующим с традиционной улыбкой, которая всегда появляется у высокопоставленных лиц при обращении к народу, потом медленно направился к своему красному бархатному креслу с рассеянным видом человека, думающего о чем-то постороннем. Вслед за ним на эстраду вошла вся его свита, весь его, как выразились бы в наши дни, генеральный штаб, состоящий из епископов и аббатов, отчего еще усилились волнение и любопытство толпы. Всякий знавший хоть одного из этих духовных лиц спешил указать на него и назвать его. Вот, насколько я помню, марсельский епископ Алодэ, вот премикарий Сен-Дени; вот Роберт де Леспинас — аббат Сен-Жермен-де-Пре, этот распутный брат любовницы Людовика XI. Все напропалую путали имена и принимали одно лицо за другое. Студенты же ругались вовсю. Это был их день, их праздник шутов, сатурналия, ежегодная оргия студентов и причетников. Всякое безумство считалось в этот день дозволенным, всякая дерзость — простительной. К тому же в толпе находились такие зачинщики, как Симона Четыре Ливра, Агнеса Треска, Розина Козлоногая. Для каждого соблазном было побраниться и безнаказанно покощунствовать в такой исключительный день, в таком исключительном обществе священников и уличных девок одновременно. И они не давали маху; среди всеобщего шума раздавались неистовые проклятия и гнусные

выкрики всех тех развязавшихся языков студентов и причетников, которые в обычное время сдерживались страхом перед раскаленным железом Святого Людовика. Бедный Людовик Святой! Какие непристойности позволяли они себе в самом его дворце! Каждый из них выбрал себе на эстраде одну из сутан — черную, серую, белую или фиолетовую — и изощрялся над ней в своем остроумии. А Жан Фролло де Молендино, в качестве архидьяконского брата, смело набросился на красную мантию и, устремив на кардинала свои дерзкие глаза, распевал во все горло:

Sara repleta mero![22]

Все эти насмешки и остроты, которые мы описываем не приукрашивая, в назидание читателю, сливались с гулом толпы и исчезали в нем, не доходя до эстрады. Впрочем, кардинала это и не тронуло бы, настолько уже вошла в обычай полная свобода того дня. Да ему было и не до того. У него была своя забота, и его физиономия целиком выражала ее — то были фламандские послы, взошедшие на эстраду почти одновременно с ним.

Кардинал не был глубоким политиком. Его мало интересовало, каковы будут последствия брака между его кузиной, Маргаритой Бургундской, и кузеном Карлом, дофином венским, долго ли продолжится неискреннее примирение герцога Австрийского с королем французским, как примет английский король пренебрежение, с которым отнеслись к его дочери. Нет, все эти вопросы не особенно интересовали его, и он очень спокойно пил каждый вечер вино Шальо, подававшееся к королевскому столу. Ему и в голову не приходило, что несколько бутылок этого самого вина, только немножко приправленного доктором Куаксье, будут любезно предложены Людовиком XI Эдуарду IV и в один прекрасный день избавят Людовика XI от Эдуарда IV.

Достопочтенное посольство герцога Австрийского тревожило кардинала не в политическом, а совсем в другом отношении. Мы уже говорили раньше, что ему было тяжело принимать этих послов. Он, Карл Бурбонский, должен был рассыпаться в любезностях перед какими-то мещанами; кардинал вынужден принимать светских старшин; ему, французу и веселому собеседнику, приходилось выносить общество неотесанных фламандцев, которые молча тянут

пиво. И все это он принужден был проделывать публично. Никогда еще не случалось ему играть такой скучной роли в угоду королю.

Но когда привратник громко провозгласил: «Господа послы герцога Австрийского», кардинал с самой приветливой улыбкой — он отлично умел владеть собою — обернулся к двери. Нечего и говорить, что глаза всех в зале обратились туда же.

На эстраду начали входить попарно, со степенной важностью, представлявшей резкий контраст с оживлением духовной свиты Карла Бурбонского, сорок восемь послов Максимилиана Австрийского. Во главе их шли: преподобный отец Жеан, аббат Сен-Бартенский, канцлер ордена Золотого Руна, и Иаков де Гуа, съёр Доби, главный судья Гента. В зале наступила тишина, прерываемая заглушенным смехом, когда привратник провозглашал смешные имена и титулы фламандцев, невозможно коверкая их. Тут были: мэтр Лоис Рёлоф, старшина города Лувена; мессир Клайс Этюальд, старшина города Брюсселя; мессир Поль Баёст, съёр Вуармизель, президент Фландрии; мэтр Жеан Коллегенс, бургомистр города Антверпена; мэтр Георг Мёр, главный старшина города Гента; мэтр Гельдольф ван дер Геге, дворянский старшина того же города, и съёр Борбок, и Жеан Пиннок, и Жеан Димаэрзель и т. д. и т. д. — судьи, старшины, бургомистры; бургомистры, старшины, судьи — серьезные, важные, чопорные, разряженные в бархат и шелк, в черных бархатных шапочках, украшенных кипрскими золотыми кистями. Впрочем, у всех этих фламандцев были славные лица, спокойные и строгие, того типа, который обессмертил Рембрандт на темном фоне своего «Ночного дозора». Стоило только взглянуть на них, чтобы убедиться, что Максимилиан Австрийский имел полное основание «всецело довериться» послам, как он выразился в своем манифесте, «полагаясь на их здравый смысл, мужество, опытность и добросовестность».

Только один из них составлял исключение. У него было умное, хитрое лицо обезьяны и дипломата. Кардинал сделал три шага к нему навстречу и низко поклонился, несмотря на то что это был только Гильом Рим, советник и пенсионарий города Гента.

Немногие знали тогда, что представлял собой Гильом Рим. Редкий гений, который во время революции, вероятно, с блеском выплыл бы на поверхность событий, но в пятнадцатом веке был принужден заниматься подпольными интригами и — как выразился герцог Сен-

Симон — «жить в подкопах». Впрочем, он был оценен как первый «подкапыватель» Европы Людовиком XI. Гильом Рим орудовал запросто у Людовика XI, не раз исполняя его секретные поручения. Но толпа, собравшаяся в зале, не подозревала этого и удивлялась, с какой стати так разлюбезничался кардинал с каким-то жалким фламандским советником.

IV. Мэтр Жак Коппеноль

В то время как пенсионарий города Гента и его преосвященство обменивались низкими поклонами и произносимыми вполголоса любезностями, какой-то человек высокого роста, с широким лицом и могучими плечами выступил вперед, чтобы войти одновременно с Гильомом Римом. Он напоминал бульдога, пробирающегося за лисицей. Его войлочная шапка и кожаная куртка казались пятном среди бархатных и шелковых одежд. Привратник, полагая, что это конюх, зашедший сюда по ошибке, заступил ему дорогу.

— Постой, любезный, — сказал он, — здесь входа нет!

Человек в кожаной куртке оттолкнул его плечом.

— Что нужно этому болвану? — воскликнул он таким громким голосом, что весь зал встрепенулся и стал слушать. — Разве ты не видишь, что и я принадлежу к посольству?

— Ваше имя? — спросил привратник.

— Жак Коппеноль.

— Звание?

— Чулочник в Генте, под вывеской «Три цепочки».

Привратник попятился. Докладывать о старшинах и бургомистрах еще куда ни шло, но о чулочнике — это уж слишком. Кардинал был как на иголках. Народ слушал и смотрел. Вот уже два дня, как его преосвященство старался по мере сил отшлифовать этих фламандских медведей, чтобы сделать их более представительными в обществе, и теперь все было испорчено.

Между тем Гильом Рим подошел к привратнику и со своей лукавой улыбкой вполголоса сказал ему:

— Доложите: мэтр Жак Коппеноль, клерк совета старшин города Гента.

— Привратник, — громко повторил кардинал, — доложите: мэтр Жак Коппеноль, клерк старшин славного города Гента.

Это была ошибка. Гильом Рим, действуя осторожно и незаметно, наверное, уладил бы дело; теперь же Коппеноль услышал слова кардинала.

— Нет, черт побери! — воскликнул он своим громовым голосом. — Доложи: Жак Коппеноль, чулочник. Слышишь? Только это — ни больше ни меньше. Черт возьми! Чулочник — что же в этом зазорного! Да сам эрцгерцог не раз искал свою перчатку в моем товаре.

Раздался взрыв хохота и рукоплесканий. В Париже сейчас же поймут шутку и оценят ее по достоинству. Да к тому же Коппеноль был из народа, как и вся публика в зале. Благодаря этому сближение между ним и зрителями произошло мгновенно. Гордая выходка фламандского чулочника, оскорбив придворных, пробудила в душе всех плебеев чувство собственного достоинства, еще смутное и подсознательное в пятнадцатом веке. Этот Коппеноль, равный им по происхождению, не уступил кардиналу. И это было очень приятно жалким беднякам, привыкшим относиться с глубоким уважением и покорностью даже к слугам сержанта судьи аббатства Святой Женевьевы, потому что этот судья был шлейфоносцем кардинала.

Коппеноль гордо поклонился кардиналу, и тот вежливо ответил на поклон всемогущего горожанина, которого боялся даже Людовик XI. Гильом Рим, этот «умный и хитрый человек», по выражению Филиппа Коммина, с улыбкой насмешки и превосходства следил за ними в то время, как они возвращались на свои места. Кардинал был смущен и озабочен; Коппеноль смотрел спокойно и гордо. Он, наверное, раздумывал теперь о том, что его звание торговца, в конце концов, не хуже любого другого титула и что Мария Бургундская, мать той самой Маргариты, которую он приехал сюда сватать, гораздо меньше боялась бы его, если бы он был кардиналом, а не торговцем. Не кардинал взбунтовал жителей Гента против фаворитов дочери Карла Смелого; не кардинал убедил толпу выполнить свое намерение, несмотря на мольбы и слезы принцессы фландрской, пришедшей к подножию эшафота и умолявшей народ пощадить ее любимцев. Чулочнику стоило только шевельнуть рукой, чтобы с плахи скатились головы двух светлейших сановников, Ги Эмберкура и канцлера Вильгельма Гугоне!

Однако бедного кардинала ждала еще одна неприятность. Он попал в дурное общество, и ему пришлось испытать горькую чашу до дна.

Читатель, может быть, не забыл дерзкого нищего, который, как только начался пролог, взобрался на край кардинальской эстрады. Прибытие высоких гостей не заставило Клопена спуститься вниз, и в то время как прелаты и посланники, набившись на эстраду, как настоящие фламандские сельди в бочонок, усаживались на свои места, он преспокойно скрестил ноги на карнизе. Сначала никто не заметил этой дерзости, так как все были заняты другим. А Клопен, со своей стороны, не обращал никакого внимания на то, что делалось в зале. Он с беззаботностью неаполитанца покачивал головою и время от времени, несмотря на шум, начинал по привычке тянуть: «Подайте Христа ради!» И без всякого сомнения, только он один из всего собрания не удостоил повернуть голову, когда Коппеноль заспорил с привратником. Гентский чулочник, уже успевший заслужить сочувствие всего зала, прошел в первый ряд и случайно сел как раз над тем местом, где приютился нищий. Каково же было всеобщее удивление, когда фламандский посол, пристально вглядевшись в нищего, дружески хлопнул его по плечу, покрытому лохмотьями! Клопен обернулся, с изумлением взглянул на посла и, по-видимому, узнал его, так как лица их обоих просветлели. Потом, не обращая никакого внимания на устремленные на них со всех сторон взгляды, чулочник и нищий начали тихонько разговаривать, держа друг друга за руки, причем лохмотья Клопена Труйльфу на обтянутой золотой парчой эстраде казались гусеницей, вползшей на апельсин.

Эта неожиданная сцена вызвала такой смех и такое безудержное веселье в публике, что кардинал не мог этого не заметить. Он наклонился, но так как с его места были только чуть-чуть видны лохмотья Труйльфу, то ему, естественно, пришло в голову, что нищий выпрашивает милостыню.

— Господин дворцовый старшина! — воскликнул он, возмущенный такою наглостью. — Велите-ка бросить этого негодяя в реку!

— Помилосердствуйте, ваше преосвященство! — сказал Коппеноль, не выпуская руки Клопена. — Это мой друг!

— Bravo! Bravo! — закричала толпа.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ